

18+

Борис Ильин

повести-рассказы



Борис Ильин

Повести-рассказы

«Издательские решения»

Ильин Б.

Повести-рассказы / Б. Ильин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-516703-3

Содержимое книги записывалось десять лет — с 2010 по 2020 годы.
Посвящается Лизе, она же моя жена. Сказать здесь больше нечего. Книга
содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-516703-3

© Ильин Б.
© Издательские решения

Содержание

Обитатели Дома	6
Все будет хорошо	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Повести-рассказы

Борис Ильин

© Борис Ильин, 2020

ISBN 978-5-0051-6703-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Обитатели Дома

Вступление

Корректору поведения, Джули, нелегко. Ей нужно создавать учебные программы для всех обитателей дома, собирать статистику участия и прогресса, модифицировать программы следуя реакциям жильцов, создавать специализированные и развернутые поведенческие планы для тех, кто наблюдается у психиатра.

Работники смотрят волком: им платят мало, у них не хватает базового образования и элементарной выучки, они перегружены ответственностью, и их не растянуть на огромные нужды обитателей дома. Они держат корректора за злого дурака, затрудняющего существование, а оно и без того скрипит по швам.

Джули предлагает модификацию плана на общем еженедельном собрании: «Когда Ронни ляжет на пол и сделает вид, что умирает, предлагаю покинуть помещение на пять минут: он любит играть на публику, а если вас нет рядом, ему быстро надоест изображать». Ей отвечают, что из этого ничего не выйдет. Но почему же, интересуется Джули, не выйдет? А ты, говорят, проведи побольше времени вне своего кабинета, тогда может и поймешь. Шестидесятилетний координатор программы, широкоплечий крепкий Том Макклири кивает головой, как китайская статуэтка, щеки у него красные, сам старается не заснуть. У него высокое давление. Руководитель резиденции, Костас, поджимает губы и смотрит оленем – бессмысленно и тревожно.

Когда Джули находит время наблюдать за поведением клиентов в общих помещениях резиденции, становится понятно, что дело не в том, что ее предложение было скверное, а в недоверии работников. Они убеждены, что Джули просто не хочется мараить руки грязной работой, не хочется сталкиваться с агрессивным поведением. Работники ее не уважают.

Джули надевает резиновые перчатки и моет обгаженные туалеты, помогает принимать душ Артуру, который в очередной раз не донес до унитаза. Артур спрашивает, что будет, если он погладит ей грудь. Джули обдаёт Артурикин задний проход из душевого шланга и отвечает, что такой вопрос неприличен, поскольку может оскорбить человека. Она, помогая натирать Артурикину шею мылом, предлагает обсудить этот вопрос с психотерапевтом. Ладно, огорчается Артур, но может ты хотя бы купишь мне пиццу? Работники наблюдают за усилиями Джули с отсутствующим выражением лица. Вечером после работы Джули плачет, сдерживая голос, а слезы крупно льются по ее щекам.

Работники тоже заканчивают смену и в большинстве своем перемещаются на следующую работу с еще одной восьмичасовой сменой. Мало у кого есть только одна работа – у большинства две или три: нужно кормить семью с множеством детей, в семье не все работают, и профессионального образования нет ни у кого.

Все это сказанное выше – вступительное объяснение жизни – жизни людей с умственной задержкой, с психиатрическими диагнозами: система ухода скоро записать получающих услуги к психиатру для того, чтобы таким образом проконтролировать поведение медикаментозным способом – несмотря на то, что, может быть, психиатрические заболевания и их проявление среди людей с диагнозом умственной задержки не так широко изучены, как принято думать. Обитателям дома о которых пойдет речь ничего не известно о тяжелой динамике отношений между ухаживающими работниками и клиническими специалистами. Их жизнь разнообразна, и главное вот что: мало кто из них чувствует себя неадекватным из-за диагноза умственной задержки. И это в своем роде достижение.

Старухи

О них невозможно рассказывать отдельно, связавших друг с другом свои жизни через несчастье расплывчатого диагноза в который и не верили, и не вспоминали о нем. Они были просто две старухи, ухватившиеся друг за друга перед суровой реальностью и оборонявшиеся

от нее общими усилиями. Одна была старуха еврейская, Джен, а другая – протестантка Руфи с английской фамилией. Обе связали свою веру, если таковая и была у них хоть скольконибудь внятно, только с праздниками в быту. На Песах ходили в русское кафе «Обжора» (Джен называла его «Обзохора» выговаривая таким образом сложно транслитерированную в английский язык русскую морфологию), а в канун Рождества посещали греческий дайнер. Джен говорила много и за обеих, но ей приходилось замолчать, когда Руфи собиралась что-нибудь произнести. У Руфи была очень плохая дикция, говорила она строго и скоро, и первый год нашего общения я почти ничего не понимал. Но привыкнув однажды, мне было странно вспомнить этот прежний языковой барьер.

И подумать, от чего им было обороняться, этим женщинам? Ведь и жили они в отдельном крыле резиденции, обустроенном под квартиру с двумя спальнями с собственной кухней и санузелом, и денег им хватало на еду, одежду, и проезд в общественном транспорте, и доступ к медобслуживанию у них был полный. Да еще эти походы в кафе-рестораны... Кто так живет, у кого такое есть на старости лет? Но ведь дело здесь не в бытовой реальности, а в ощущении от жизни. Джен всю жизнь работала на мелких должностях – грубо говоря, на переключивании бумажек из одной стопки в другую – откуда ее постоянно увольняли, и если бы не родители и братья, быть ей бездомной. Но вот умерла ее мать, и каким-то невозможным образом, устроив психологическое тестирование, Джен определили умственную задержку – клинически низкий уровень интеллекта, и – чудо! – приняли в соответствующую систему ухода, а затем поселили как раз в квартире с Руфи. Джен плевать хотела на все эти византийские ходы; она говорила, что ее упекла сюда племянница, и теперь племянницу и знать не хочет. Не то было у Руфи. Она с детства жила со знанием, что с ней что-то не так, и с ранней юности участвовала в программах поддержки, куда ее определили по диагнозу – работала в специализированных мастерских, бравших подряды у крупных концернов или фирм – то складывала презервативы от Глаксо-Смит-Кляйн в пластиковые пакеты, то собирала пишущие ручки для фирмы Бик, и прочее всякое. За работу ей платили доллар за сто собранных ручек, за двести упакованных презервативов, в неделю у нее получалось пять-семь долларов, но и работала она четыре дня. Жила она в юности в огромном психиатрическом заведении на Лонг-Айленде на пятьсот коек, а в ее палате было пятьдесят человек. Из-за такой жизни, Руфи была приучена к строгому распорядку и минимуму удобств. Она и прежде не любила нить, и теперь, живя в трехкомнатной, включая гостиную, квартире, она никогда не жаловалась на бытовые обстоятельства – на то, что в ванной вода не течет, на мышей, на то что зимой плохо топят. Напротив, она была весела и, как прежде, строга.

По-настоящему раздражающая сторона этой жизни для обеих заключалась в том, что они стали частью системного механизма, цель которого воспроизвести себя посредством получения государственных дотаций. Для их получения, система устроила большое количество всяких специалистов, приходивших к Джен и Руфи, толкущихся у них в квартире каждый день, заставляющих то подписать непонятные бумаги, то подвергала учениям по пожарной безопасности, когда в три часа ночи их, в нижнем белье, выгоняли по учебной тревоге на улицу в любую погоду, и в ведомость записывалось, что теперь старухи умеют защититься от пожара. Кроме того, приходил специалист по поведению, и всячески учил – учил Руфи как словесно передавать мысль с большей эффективностью (попросту, говорить медленнее), как меньше раздражаться (сделать несколько глубоких вдохов), как разнообразить досуг (сходить в кино вместо похода в кафе). И Джен учил не нервничать (переключать внимание на любимые занятия – и было тяжело понять какие она любила), готовить новые блюда (курятину не только вареную, но и в духовке запеченную).

В мои же обязанности вменялось просто их проведать, свежим взглядом оценить все ли в порядке, расспросить не нужно ли чего, выполнить просьбу если таковая будет. Мне было проще, приходил я раз в три месяца, и старухи радовались моему приходу. Нет, не было

в наших встречах ничего по-домашнему приветливого, ничего особо теплого. Джен часто жаловалась на работников и специалистов, вела меня в ванную комнату и с раздражением демонстрировала протекающий кран. Нет, вру – теплота была: но всегда исходящая от Руфи: она зазывала меня к себе в спальню, закрывала дверь и долго показывала старые фотографии; они, эти фотографии, все были в неважном состоянии – гнутые, искривленные, и словно приправленные дымкой времени. Конечно, это была никакая не дымка, а въевшаяся пыль. Через завесу пыли видны были женские фигуры – три молодых сестры на фоне зеленого подстриженного куста. Какие прежние прически и моды угадывались в фотографии? Были ли все три напомажены духами Элизабет Арден Schoolhouse Red? Что там еще было привычно носить и чем краситься во второй половине пятидесятых? Трое молодых задорных девичьих фигур в простых платьях с повторяющимся узором, все так далеко во времени словно в дымке, а если бы не было времени? А если его нет совсем? Что там за зеленым подстриженным кустом? Приличные садовые дорожки присыпанные гравием? Куда же они ведут? К другим кустам деревьям и дорожкам. А за этими что? Что там виднеется? Неужто шоссе и прилегающая к нему лесополоса? Если пройти к шоссе, нужно осматриваться – крупные семейные автомобили проезжают на большой скорости, все больше черные и белые, но встречаются и вызывающе-красные, и серые. Перейти через шоссе осторожно. В начале леса усматривается тропинка, но этим летом никто здесь не ходил, она на весь обзор вперед заросла легкой травой, подзасохшей уже – погода три недели стоит жаркая, и осадков нет. Идти вперед через лес, и ни высокие кроны сосен с зелеными иглами, ни кривые канадские березы с прозрачной своей салатовой листвой не спасают от припекающего жара: солнце стоит высоко, как только бывает в летний полдень, и человеку от него не укрыться и в лесу. Жарко, и хорошо одно: если над головой не заглядывать, ничто не слепит глаза, а мир между тем ярк и звучен: шелест листьев и древесные скрипы переходят от участка к участку то ли эхом, то ли всякое дерево перенимает эстафету и звучит – шелестит листьями или иглами, скрипит негибким своим остовом, но эта работа деревянных тел – вот всё, что флора себе позволяет привнести в звучащий мир. Почему-то здесь птицы не поют; может ли быть, что близкое присутствие шоссе спугнуло птиц однажды и навсегда? Но все не то: если продвинуться в лес на километра два глубже, здесь дорога начинает идти заметно в гору, и вся она каменистая, да и дороги в общем нет никакой – то и дело приходится отгибать ветки, перешагивать через коряги по мягкой устеленной мелкими веточками и выжившими прошлогодними листьями почве, и стопа утопает – словно шагаешь по живому телу, и почва поскрипывает под ногами, и ломается под стопой то веточка, то еще одна. А если есть в лесу кто-нибудь еще, то ему слышно приближение человеческих шагов за полкилометра. А вот уже обнаружили и покрытые лишайником валуны, а древесные корни как огромные жилы огибают камень, и стремятся достигнуть земли, и тогда валун похож на круглый напряженный бицепс по которому прошла вздутая синяя жила. Так и выходишь на ровную поверхность, и дыхание умеряется, становится ровным, и когда перестаешь его замечать, вдруг напоминает о себе жажда. Пить хочется, а воды нет. Но впереди ведь должны подать о себе знак приметы человека – однородный шум шоссе, проявляющиеся одноэтажные домики – что-нибудь. А уже и солнце ушло, и холодно, и белый подоконник грязный, с черными вкраплениями пыли, полки покосившиеся, потолок облупленный, но тяжело не вглядываться в фотографию – через пыльную дымку, где мир молод и живет юношеской бодростью, и все здоровы, красивы, и живы. Как перестать вглядываться?

У Джен двое старших братьев; они не виделись десять лет – у одного нет денег приехать из Миннесоты, а другой полностью ослеп за это время. Джен звонит им на праздники, но повторяет как заклинание: «Главное – забота о себе». Она очень переживает за братьев, но еще хуже ей – вдаваться в подробности их обстоятельств. И она не знает, кто помогает самому старшему, слепому, и как именно выживает средний – без средств к существованию.

Руфи раз в несколько лет летает к сестре во Флориду. Она очень экономна и получается собрать на билет в оба конца.

Мне об этом обо всем рассказывается сухо, подчеркнуто неэмоционально.

И вот в очередной раз прихожу к ним. На лице Джен тяжелая улыбка. У Руфи лицо смазано, движения суетливые, варит картошку, голова по периметру перехвачена черной повязкой. Зазывает к себе в комнату, запирает дверь, скрываясь от внимания соседки, и говорит быстро, неразборчиво: знаешь что у меня случилось? Сестра умерла, Френсис. Обнял ее, постояли так с минуту. Потом с усилием перешли к пустым бытовым разговорам, вопросам.

Ронни

Настоящая поэзия имеет важные практические применения. Случается, что люди о поэзии не знающие ничего, никогда в жизни ею не интересовавшиеся однажды предстают перед миром и читают собственные необходимые стихотворения, записанные такой строфой, где два первых стиха и стих четвертый – трехстопный ямб с попеременным женским-мужским окончанием, а третий – четырехстопный хорей с мужским. Они, эти люди, и не узнают никогда о просодических подробностях, но всё здесь производит эффект: комната, набитая людьми, две женщины – одна филиппинка средних лет, а другая – молодая шотландка, задержавшаяся у нас по рабочей визе – со слезами в голосе читающие вслух. И не в меньшей степени производят суровый смысл сами стихи о потере человека в пользу смерти, и сама смерть, и сам мертвый человек, Рональд, Ронни, совсем высохший, ярко-белый – лежащий в открытом гробу, как положено по католическим правилам.

Начнем с того, что Ронни умер, а затем заглянем в его жизнь, кто-то ведь должен заглянуть, и видимо придется нам. А вот и сами стихи в приблизительном русском переводе, передающем ритм и общее настроение, но не инстинктивную естественность им свойственную, свидетельствующую о том, как личное переживание переходит в слова для общей скорби. Их никто и не просил, этих женщин, ни сочинять, ни зачитывать, но иначе и быть не могло – они теперь поэты на час, и забудут какво это, как только прочитают свои строки:

Наш добрый милый Ронни,
ты всех оставил нас.
Мы работали с тобой,
и плачем мы сейчас.
Решали все проблемы,
ну а теперь их нет.
От тебя осталась лишь
коробка сигарет.

Собираясь записывать эту жизнь, я почти вижу, как для русского изложения ее обернули в упаковочные прозрачные материалы – какой-нибудь жесткий целлофан; через него все видно, но цвет потускнел, и запаха не слышно, если не считать удушливого запаха самой упаковочной пленки. Оговаривая такое обстоятельство, я всего лишь хочу сообщить, что вся жизнь Ронни, как и мое в ней мелкое участие, происходила по-английски, а русское ее свидетельство заставляет предпринять дополнительное удаление, а может и качественное смещение, позволяющее думать, что это повествование, каковому развернуться далее, имеет мало общего с его героями, да, собственно, и вообще ничего общего не имеет. Ни Ронни, похороненный на семейном участке не где-нибудь, а в Кенсико, ни сам дом с оставшимися обитателями в бруклинском Грейвсенде не будут потревожены, это я могу вам обещать.

Мне рассказали сразу, как только я устроился на работу, что у Ронни сильные перепады настроений. То он ласков и мил, а то вдруг обрезает все телефонные провода в резиденции, выбрасывает оконный кондиционер на улицу со второго этажа, то ляжет на пол и часами будет хрипеть, пускать слюни и умирать. А как придет скорая, поднимется резво – и словно не было умирания. Он был высок и худ, его пошатывало. Врач порекомендовал ходить с палочкой,

но Ронни наотрез. Раз в неделю он собирал мелкие учетные деньги в пяти окружных резиденциях под началом нашего агентства, а затем отвозил их на метро в главное управление. Заработок его был за это пять долларов – большие деньги для человека в его ситуации. Куда с ними? Больше всего на свете Ронни любил играть на удаленном тотализаторе скачек. Раньше в Бруклине существовал ряд заведений именно под таким названием, Удаленный Тотализатор, где, в залах просмотра, собирались неопрятные серолицые мужчины, уставившиеся в телевизор в ожидании результата. Ронни среди них ничем не выделялся. Вообще, описывать Ронни непросто – все его действия, движения, лица выражения требуют заезженных унылых эпитетов и сравнений – как то: ухмылка у него была хитрая, улыбка беззубая и веселая, глаза словно карие щелки, морщины мудрые, и тд. Кто пожелает, может дополнить список, а здесь это ни к чему. У него были светло-карие от сигарет пальцы, а поскольку руки он мыл редко, и вообще предпочитал не освежаться лишней раз ни под душем, ни как либо вообще, то и дух от него стоял такой, который бывает лишь в «заведениях», что есть эвфемизм для разнообразного типа жилищ под нужды всяких нездоровых людей у которых нет денег на частный уход. В таких заведениях пахнет гниющей кожей и смертью, и я не разберу – быть может это один и тот же запах. Так пахло и от Ронни.

Сомнительная гигиена не мешала Ронни ходить в сердцедаха, даже если только в собственных глазах. Он названивал в соседнюю резиденцию, где жила Джейн, его платоническая любовь, и все сокрушался, что дальше телефонных разговоров дело не шло. А я не имел права рассказать ему, что Джейн не интересуют вопросы плотской любви, хоть она и выполняет исправно упражнения Кегеля. Но ведь Кегель-то в ее случае был упражнением не для последующих утех, а просто чтобы уменьшить недержание мочи.

Когда я познакомился с Ронни, он курил красные Марльборо, а с повышением цен перешел на Маверик. Когда и те стали слишком дороги, он стал брать сигариллы Dutch Masters (35 центов за штуку) и прованивал ими всю округу. От меня он хотел следующего: чтобы сообщил куда надо, так он говорил, о работниках, смотрящих телевизор во время работы, недокладывающих ему еду в тарелку, мусорящих соседях, а ведь Ронни сам мыл везде полы, каждый день. Это была странная комбинация: личная нечистоплотность и неуклонное тяготение к порядку и гигиене жилья. Возможно, он просто не видел себя со стороны, но когда ему говорили, что у него на губе сопля или что вот уж совсем пора в душ, ибо вокруг уже собираются мухи, а они понятно на что собираются – в общем, Ронни принимал эти прямые намеки легко и мало беспокоился. Абсолютно чистым и выбритым я его видел однажды – когда его навещали братья и сестра – крепкая польская семья, и не только по фамилии польская, но и как-то на вид, несмотря на то, что из Польши приехали родители родителей. Никто из них польски не знал, и даже собственную сложную фамилию Бржежицкий вся семья выговаривала на упрощенный американский манер. Но что мне было известно о семье Рональда? То, что братья его высоки и кряжисты, что сестра сдержана и серьезна? К Ронни они явно относились, как к равному, а он и был равен всем и на иное не претендовал, и у кого еще я знавал это ясное ощущение независимости и самоуважения, простоты в общении и требовательности? А что он ходит грязным и неопрятным – разве это само по себе диагноз?

Комбинация лития и оланзапина долгие годы помогала Ронни не срываться в резкое поведение, о котором мне рассказывали при поступлении на работу. Но случились сильные почечные колики, и Ронни отправили по скорой помощи. А в больнице не проследили за медикаментозным рационом. Вообще, подсудное дело, человек может и умереть, а судиться у нас любят. С другой стороны, такая морока искать сутягу, обстоятельно все конспектировать для судебных разбирательств, а Ронни в это время успел вырвать у себя капельницу, дотянуться до телевизора на высокой стенной стойке, и разбить его. Ронни был найден на полу в своей палате сжимающим подушку в руках, грызущим ее голыми деснами.

Возвращение в поведенческую норму далось Ронни очень тяжело и заняло примерно полгода. За это время он успел разбить окно, выпрыгнуть туда, ударить прохожего, оказаться в наручниках в полицейском участке.

Теперь он наблюдался у психиатра раз в две недели, что в три раза чаще, чем обычно, и тот не торопился, ждал когда лекарства произведут нужный эффект.

В какой-то момент Ронни ходил в несколько туманном состоянии, много спал и ел, и даже поправился. Виделся я с ним раз в месяц, и однажды после нашей встречи в резиденции я услышал слабый стон: Рональд лежал в коридоре и отчетливо говорил: «На помощь!» Я подошел и увидел как заострился его нос, Ронни издал еще один хриплый стон. Затем повернулся в мою сторону, хитро глянул и беззвучно засмеялся. А дальше с тяжестью встал и поплелся к себе в комнату.

Милдред

Конечно ее звать не Милдред – так звать только совсем пожилых людей: скажи Милдред и Руперт – и сразу видишь сутулого старика в выглаженных темных брюках, туфлях лодочках, в серой рубашке, в тяжелых очках, сидящего у телевизора, а рядом с ним Милдред – широкая в бедрах, с отсутствующей талией, с тонкой шеей поддерживающей тяжелую большую голову с морщинистыми щеками, пергидролевой пышной прической. Обычно такая Милдред занята обедом, а в прочее время читает очередную книгу Даниэль Стиль. Но мы отвлеклись. Наша Милдред – подвижная крепкая женщина лет пятидесяти, на расставленных ногах, сама плотная. Ее лицо с крупным носом картошкой и разведенными широко глазами свирепо и недоверчиво, но это пограничное состояние и оно само по себе не означает угрозы. Ее внезапная улыбка обезоруживает и ослепляет. Милдред резко подсакивает, обнимает, кладет голову на плечо и с легким недовольством говорит несколько протяжно: «Я скучала по тебе, ты где пропал?» И если в этот момент в подвальный офис спускается работник, чтобы напомнить, что пора бы уже и душ принять впервые за два дня, Милдред поспешно покидает объятия, хватается за первый попавшийся предмет на столе и пронзительно кричит: «Отпизжу сука, покалечу!» Здесь повторяются одни и те же игры, и вот как примерно выглядит сопутствующий им диалог (М – Милдред, Р – работник):

М (размахивая крупным сшивателем): Урою, покалечу!

Р: Милдред, держи себя в руках, я просто пришел поговорить.

М: Чтоб ты сдох, козлина! Сам принимай свой ебанный душ!

Р: Давай присядем, поговорим, положи сшиватель, он нам сейчас не нужен

М: Я не пойду в душ!

Р: А я разве тебя заставляю?

М: А тогда какого хера тебе нужно, мудака?

Р: Мне просто нужно поговорить. Хочешь, вот Боря тоже будет участвовать в разговоре.

М: Хочу, он хороший, я его люблю, а ты мудака и подохнешь мудаком.

Р: Я просто вижу, что ты волнуешься или злишься, хочу понять в чем дело, может я могу чем-нибудь помочь?

М: Мне очень плохо, мама умерла уже восемнадцать лет как, а мне ее так не хватает! У меня депрессия, а ты ведешь себя, как мудака!

Р: Я понимаю, это должно быть очень тяжело так жить.

М: Очень!

Р: Но тосковать ведь тоже надо, это ведь твоя мама, и ты правильно тоскуешь. Без этого, видимо, не бывает. Вопрос вот в чем, что мы можем сделать, чтобы как-нибудь помочь тебе? Может быть организовать поездку на кладбище к маме?

М: Ненавижу кладбища – они меня пугают, там все мертвые! И вообще, что у нас на ужин?

Р: Спагетти с тефтелями и салат.

Милдред лет двадцать сожительствует со своим соседом Рональдом, худым и высоким стариком. Оба не заикливаются на взаимных отношениях и активно ищут новых встреч. Рональд жалуется на долгое отсутствие нового романтического интереса, а Милдред делит хахалей с Сюзи (про Сюзи уже было). У Милдред есть младшая сестра и ее семейство в комплекте с собакой. Время от времени, вот уже много лет Милдред рассказывает мне что она теперь тетя нового племянника по имени Владимир, и какой это чудесный младенец. Из-за этих повторений у меня складывается странная и желаемая картина замедленного старения семьи, в которой и младенец остается таковым семь лет подряд, и сестра долгие годы мать новорожденного. А если картина правдива, сколько лет до смерти было отведено матери Милдред?

Артурик

«Так ты что, точно женщина?» спрашивает Артурик, «значит у тебя есть писька и сиська?» Обычно с Артуриком работают студенты или без образования семейные на трех работах люди. Здесь мало платят. А тут он как раз вопрос свой задал студентке-работнице, да еще в людном месте, в Макдональдсе. Ей бы безучастным голосом перенаправить его внимание на что-нибудь уместное – например, на преЙскурант заведения, но эмоция ей овладела быстро – покраснела, растерялась, не нашла, что ответить. Но Артурик сам знает на неприличном долго не задерживаться. «Мне», говорит, «бигмак с картошкой и диетическую колу». Ест резковато, смотрит, уставившись студентке в грудь. «Мися, мися, мися, мися!» сначала бормочет жуя, но бормотанье скоро переходит в крик. «Мися – я буду лизать твою мисю!!» Раньше-то он говорил «пися», но его научили, что говорить пися, а тем более орать прилюдно – неприлично, и если уж ему совсем невтерпещ, то лучше произносить «мися». Артурик очень послушный, никогда не перечит, и только осведомляется зачем выполнять, что от него просят. Он любит автомобили своего детства – выпуска середины пятидесятых, все эти громадные бьюики и доджи, любит шоколад, умеет сразу назвать день недели, если ему сообщить год и дату рождения. Если нервничает, ногтями чешет кожу на лице – так, что постепенно образуются кровоточащие ранки. Артурикина сестра, сама женщина не без явных эмоциональных проблем, уверена, что это все побочные эффекты психотропных препаратов. При ней Артурик чешет сильнее и больше, он ее боится, а потому нервничает.

Артурик всегда хочет, чтобы сестра сводила его в кафе – и она водит – покупает с ним сосиски в Nathan's на Кони-Айленде, берет его в дайнер, а там кормит курятиной в соусе Альфредо. У Артурика рефлюкс, и она требует, чтобы пиццу ему не покупали. Костас, нежный грек – управляющий резиденцией, волнуясь, напоминает сестре, что Артурик – взрослый (даже пожилой!) человек, и ему решать, что есть, пусть это противоречит медицинским предписаниям.

С Артуриком и его соседями по резиденции проводят сексуально-разъяснительную работу, устраивают лекции по безопасному сексу. Джули, лет двадцати трех корректор поведения, с энтузиазмом рассказывает, что перед оральным сексом партнеру нужно надеть презерватив на эрегированный член. Также сообщает вникающим медленно слушателям, что есть и женские презервативы, но ими пользоваться несколько тяжелее – ведь устройство вагины отличается от устройства пениса. «А есть у тебя вагина?» спрашивает Артурик и застает корректора врасплох. «Если есть,» быстро добавляет он, «то можно я ее буду лизать?» Артурику сдержанно и неинтересно отвечают, что задавать такие вопросы неприлично, поскольку они могут оскорбить человека, но здесь вступает Артурикина соседка по резиденции Сюзи, она говорит, что своему бойфренду сразу поставила условие – или лизать, или до свиданья навек. «И он как пошел лизать», рассказывает смеясь, «так уже остановиться не может. Всегда рад стараться.» Сюзи – веселая лысая женщина, но насмерть стоит против другой соседки – мускулистой Милдред, которая старается над всеми верховодить. Обе изредка побивают Артурика, но тот зла не держит. «Чтобы матери ваши захлебнулись в дерьме, чтобы дети ваши сдохли

от тифа, чтобы отцов ваших оскопили» скороговоркой отвечает Артурик на любые вопросы Сюзи и Милдред.

Сам Артурик из хорошей семьи и до тридцати лет имел слуг и личного шофера. Но родители умерли, а незадолго до смерти определили его в резиденцию, где люди подобраны по диагнозу. Иногда Артурик не успевает в туалет, и ему помогают принимать душ те же студентки-работницы; в эти моменты он выглядит, как ошипанный беспомощный старый цыпленок, а желтые сохранившиеся его зубы выделяются на фоне тонкой, серой, в пупырышках от холода кожи.

Сюзи

Я уже упоминал Сюзи в прошлый раз, но надобно сказать о ней больше. Помимо того, что была она лыса и весела, отличалась также плохим зрением, носила очки с толстыми линзами, а еще у нее сильно росла кучерявая подростковая бородка. Ей выбривали подбородок и остаток волос на голове трижды в неделю, семья пробовала парики – от синтетических дешевых до дорогих еврейских ортодоксальных, пошитых из человеческих волос. Но и принадлежность к еврейству не помогала, все было напрасно: Сюзи покрывалась красными аллергическими пятнами. Парики пришлось отменить, но ни облысение, ни борода, ни вставная челюсть, ни очки не мешали ей привлекать всестороннее мужское внимание. От одного она принимала самодельное колечко из нержавеющей стали, другой приходил с цветами и тортом, третий водил в Макдональдс, и каждому была открыта спальня Сюзи на втором уровне резиденции. Одному только важному правилу Сюзи следовала всегда: пользоваться презервативом, а к разным звукам телесной страсти все соседи были привыкшие. Работники же не вмешивались – не положено.

Сюзи часто навещала младшая сестра, серьезная и вежливая женщина, подробно выяснявшая медицинские обстоятельства ухода, предлагавшая свою помощь. Увидев сестру, Сюзи улыбалась во весь свой пустой рот и сразу переходила к жалобам. «Эта сука Милдред спрашивает почему я сегодня не пошла на программу, а какое ее сучье дело? Я может к врачу ходила.» В таких случаях работники напоминали о том, что бывают плохие слова, а бывают хорошие, и что сука – слово скорее плохое. Сюзи с непонимающей улыбкой слушала, но принимала к сведению: «Эта блядь Милдред все время лезет в мои дела», жаловалась Сюзи и тут же угрожала: «Я эту блядь покалечу».

Однажды я оказался свидетелем, когда Сюзи пришел навестить ее брат – двухметровый, похожий больше на скандинава, чем на еврея, в дорогом костюме-двойке, крупного размера вишневых туфлях, немолодой, ухоженный господин прямиком с Уолл-стрит. Маленькая Сюзи бросилась к нему в объятия, и он вобрал ее в себя будто целиком, а и без того малоподвижное его лицо вовсе окаменело. Было понятно, что брата застали в интимный семейный момент при свидетелях, чего в его жизни бывало, наверно, редко, и действительно – зрелище казалось нетипичным: лощеный высокий сдержанный господин обнимает лысую беззубую в тяжелых очках женщину, смеющуюся громко и легкомысленно. Вдруг кончики его рта поднялись кверху, и лицо украсили две глубокие привлекательные складки – обнажившие природную теплоту, которую он так тщательно скрывал.

Персонал и Потребители

Одна из особенностей американца – способность на внезапный мелкий радушный разговор в общественной ситуации. Так со мной разговорился немолодой негр на станции метро в Бронксе после того, как мы сверили расписание поездов и поняли, что наш задерживается. «Восточноевропейский,» сказал он не долго думая, «но очень легкий, прикрытый американским акцентом. Вы из Украины?» «Точно, но неужели так слышно?» я был все-таки удивлен, хоть и не заблуждаюсь насчет моей английской речи. «Невестка из Тернополя», отвечал негр, а дальше вошел в вагон подоспевшего метро.

Или вот еще. Нет, никакого еще – незачем рассказывать, и так ведь все понятно про эту американскую особенность. Ведь понятно же, да?

Скорее вот что: полные лодыжки и сама женщина корпулентная, молодая, негритянка с бледно-розовым в веснушках лицом. Курносый нос, волосы выкрашены в рыжий цвет. Юбки носит джинсовые и длинные, на ногах вьетнамки. Я помню ее – лет тринадцать назад – на лекциях по экспериментальной психологии в университете, в негритянской шапочке разноцветной; такие я видел и на мужчинах и на женщинах – сначала думал, что это знак принадлежности к Нации Ислама, а потом ничего не думал. Так толком и не выяснил. Теперь на ней не было никакой шапочки, и я знал, что зарабатывает она 22 тысячи долларов в год на полную ставку, и что беременна, хоть и было сказано вида не подавать, что мы все знаем. Звали ее, допустим, Джеки.

Рассказывает Джеки:

Говорю, Марвин, чего ты плачешь? А он плачет и плачет, а говорить-то мы знаем – не умеет. Взяла его на руки, на кровать положила, раздела всего, смотрю – опять головка хуя вывалилась – мне самой больно от одного вида. А Марвин плачет, даже воет как-то. По лбу его погладила, говорю, ну потерпи, милый, сейчас по скорой поедем. Вызвала скорую, потом позвонила нашей медсестре, как полагается, а эти приехали медики и – не хотят его брать! Я говорю им, что же вы, не люди что ли! Посмотрите, он старый человек, ему больно, вам не стыдно? А эти отвечают, мисс, не беспокойтесь – взяли его положили – давление, то да се. Я и не увидела, но быстро вправили ему. Зафиксировали и сказали записаться к врачу. Марвин уснул, а скорая уехала. Потом проснулся, пришел ко мне и руку поцеловал. Мужчина! Не то, что эти нынешние дятлы – только детей строгать умеют, а дальше поминай!

А вот еще Кевин рассказывает – на такой же должности, что и Джеки:

Марвин – веселый старикан. У нас с ним особые отношения: он меня дубасит, а я делаю вид, что мне больно. Иногда мне уже и надоеет, а он только в раж входит. Перехватывает мою левую руку, заворачивает за спину, и лупит по животу изо всей дури. Но дури, прямо скажем, в нем осталось немного, поэтому получается скорее щекотно. Вот только надо делать вид, что меня от боли просто выворачивает. Ну, ору дурным голосом. А что делать? Зато у Марвина потом хорошее настроение и он со мной не спорит, делает все, что прошу.

Кевина как раз потом за это все и уволили: а не нужно было создавать агрессивную ситуацию. Соседи-то за всем наблюдали, и когда Милдред пыталась врезать Кевину, результат мог быть нешуточный. Она потом жаловалась: почему Кевин позволяет Марвину лупить себя, а мне не позволяет? И вопрос хороший: хотела справедливости.

Вообще, чувство справедливости – главное чувство всех этих подневольных людей: и жильцов дома, и работников, выполняющих свои обязанности за мизерные деньги. О нем и пойдет речь.

Если кому-нибудь достались сверхурочные часы, но не были предложены на выбор всему коллективу – значит случилась несправедливость. Если у Сюзи двадцать таблеток в день от разных болячек, а Милдред принимает только пять ежедневно – то это несправедливо, ей тоже нужно увеличить до двадцати. Если Артурика навещает сестра каждый месяц, то пусть она, сволочь, подохнет – ведь Сюзи сестра навещает реже. Похоже, всем этим людям не додано чего-то самого главного – и не понять чего именно – но такого не додано, что позволило бы не усомниться в чувстве собственного достоинства. Скучная жизнь без просвета – быть может, вот главный механизм толкающий на поиск сиюминутной справедливости любой ценой. И в этом смысле все они равны – и люди служащие, и те, кто услуги получают. Равны в том смысле, что твердо и безвопросительно знают себя винтиками единой системы. И даже придуманы для них слова определяющие обе группы. Работников называют Персонал, а получающий услуги – Потребителями. И всякий человек с умственной задержкой знает, что он Потребитель, но не в том смысле, который предлагает социология или, например, экономика, а в сугубо жар-

гонном значении. Потребитель – человек с умственной задержкой получающий услуги, и главное: потребителем он является только с точки зрения Персонала. Вот на пробу предложение: «Персонал и потребители вышли на прогулку». И сразу понятно: люди с низким интеллектом вышли погулять, а работники за ними следом присматривают, чтобы помочь ежели вдруг что.

А зачем я завел про негра в начале да про особенности американского характера? Я и сам не знаю. Но повествование тем не менее продолжается. Эта борьба за названия людей и групп их объединяющих постоянна и сравнима с упорным ношением воды в дуршлаге. Как только людей не называли – Потребитель уже был упомянут. Пациентом – нельзя, поскольку тогда за основу берется медицинская модель подхода к человеку у которого ничего не сломано и не болит. Пациенты, все же, у врача. И клиент не годится: вот слово привязанное к психотерапевтической практике, а о ней в системе речь не идет. Клиенты у психолога. Думали назвать субъектом, но уж больно бесчеловечно, и тогда придумали такое, что хуже всего. Назвали человеком. Если сильно не задумываться, то все правда – человек и есть человек, с умственной задержкой или без. Но система-то хочет и рыбного съесть, и чтобы в вопросах половых отношений все было как надо. С одной стороны – люди, а с другой – как их словесно различать от тех, кто за людьми ухаживает и учит их? Вот, на пробу, то же предложение, несколько видоизмененное: «Люди с Персоналом вышли на прогулку». Сразу понятно, что слово люди уменьшается до непристойного эвфемизма, и непристойность здесь именно в этом непроизнесенном, каковое сам эвфемизм скрадывает. В чем причина этих вечных неудач с названиями? А в том, что вся бодрая замена слов есть внешнее суетливое движение, призванное скрыть, что система меняться и не собирается. И для нее нормально платить мизерные деньги за сложнейшую ответственнойшую работу, для нее в порядке вещей относиться к людям, за которыми закреплен уход не как к людям, а как к дойным коровам, приносящим государственные дотации для воспроизведения самой системы.

Знает ли об этом обо всем Марвин? Скорее всего нет, но он знает, что бывало хуже: вырос он в психиатрической лечебнице, где жил в помещении на двести человек, и работник на них был один: он и жрать разносил скудную кашу трижды в смену, и из шланга поливал их, под себя ходящих, в качестве единственной гигиенической процедуры.

Нужно жить долго, чтобы иметь возможность полноценно сравнить. Эта возможность добавляет доброй мудрости человеку, сообщает ему зыбкость любой ситуации, скверной как и прекрасной, помогает не осудить чрезмерно, но радоваться когда выпадут счастливые времена или не терять полностью надежды, когда приходит время горевать горе.

Все будет хорошо

Всё раздражает. Лужи, небо в них – раздражает. Хочется сказать: чертовы лужи или долбаные лужи, но первое раздражает, как клише и второе тоже. Еще раздражает, что надо бы сказать не «клише», а употребить другое слово. Но хуже нет, когда не можешь вспомнить слово, а еще хуже, чем нет – что постоянно скулишь. Раздражает – и точка, и нечего скулить.

Я сторожу на выходе в супермаркете. Мой начальник – Хаким, я про себя его называю супервайзер, поскольку так по-английски и мне уже привычнее. Я иммигрант, мой родной язык русский. Все спрашивают – ты русский? Я киваю, меня это почти не раздражает. Я не русский. Я в России даже не бывал ни разу, я родом из Гомеля. Я еврей. Я родился в центре на улице Бочкина. В детстве меня дразнили и говорили, что я с улицы бочкина-почкина. Мы во дворе дрались и меня пытались бить по почкам, чтобы как-то свести название улицы с телесными повреждениями. А может этот ложный символизм мне просто пришел в голову и били как попало. В нашем городе ели не были зачесаны ветром на пробор, вообще никаких изысков, все просто. И я тоже только здесь, на бумаге, будто красноречив, но на самом деле говорю мало. Зато мои друзья, когда они у меня были, находили в моем молчании и малословии какую-то подлинность личности, но может быть это я тоже придумал. Во всяком случае, мне ничего подобного никто не говорил. Мама меня всегда жалела, она тревожилась о моем взрослом будущем – о том, что я ни на что не способен. Но я доказал ей обратное. Когда она умирала, я был рядом с ней, а потом позаботился, чтобы похороны были человеческие. И проводили в последний путь ее не только я и знакомая, с которой она общалась последние годы по телефону. Нет, люди пришли – я обзвонил всех, и пришли даже те, с кем она насмерть переругалась за последние четверть века. Она со всеми переругалась.

Правда, конечно, в ее тревоге была. Я работаю в подсобке и смотрю у входа, чтобы не выносили товары не заплатив. Я хороший подсобный рабочий, но некоторым не нравится, что я слушаю музыку, когда таскаю ящики с товаром и раскладываю товар на тележки. Хаким говорит, что через месяц он меня уволит, поскольку моя должность сокращена. Все бы ничего, но мне надо платить за комнату. Я надеюсь устроиться рабочим в другой магазин.

Хаким хороший мужик, энергетично даже теплый и везде успевает. Он мне как-то на Рождество подбросил халяльной курятины. Я, конечно, ему не говорил, что я атеист и еврей, а просто взял птицу. Очень качественный продукт. Я вообще, когда возможно, покупаю курицу – ножки, реже крылья. У нас рядом супермаркет Си-Таун, там ножки бывают по 39 центов за паунд. Паунд это почти полкило – ну, это вы знаете наверное. Очень доступная цена, и курица – питательный продукт. Зимой я варю бульон, а в другое время года часто запекаю в духовке или жарю. В русском магазине продают гречку, и я ем курицу с гречневой кашей. Чего мне не хватает – это белорусской сметаны. Здесь есть саур-крим, но это не то. Это похоже на сметану, но гораздо хуже. Я готов идти на компромисс и покупаю себе иногда саур-крим и ем его. Это не так вкусно как наша сметана, но по-своему тоже аппетитно. Еще я иногда думаю про улицу Бочкина. Даже не думаю, а у меня такой визуальный образ: улица и как она сворачивает на ул. 30-го Года БССР. Хотя кто его знает, может уже давно всё переименовали. Я ведь сколько здесь живу.

Я живу в квартире с мужиком – у нас две комнаты, одна моя, одна его. Он лимузинщик, работает сутками, а когда не работает, то играет в видеоигры или квасит. Иногда я квашу с ним. Он варит хороший грог, но это просто для аппетита. Мы его пьем под жаркое из курицы, а квасим мы водку. Он никого не водит, у него была любимая женщина, но отказалась уходить к нему от мужа, я видел фотографию. Я к себе никого не вожу. Я раньше думал, кому я такой нужен, ни кожи ни рожи, а теперь всё то же самое, но только раньше я был молод. Я засматриваюсь на женщин и отмечаю, что я так же засматривался, когда мне было двадцать

или тридцать. В свой полтинник с гаком я всё больше чувствую, что жизнь это музей, а вокруг женская красота, как экспонат.

Но дело-то вот в чём. Зачем мне записывать, если я и сам всё это уже знаю? Незачем, конечно, но есть проблема. Приезжает друг из Гомеля, мы не виделись больше тридцати лет, с тех пор как я уехал. Я ему врал по телефону о хорошо сложившейся жизни, которой у меня нет в том виде в котором я ему описывал. Жизнь моя, в целом, хороша, меня многое устраивает, но мне стыдно за враньё. Да, несмотря на возраст и жизненный опыт, мне стыдно. Ведь всякое бывало или лучше сказать – разное бывало, но вот так в лоб соврать, а потом он увидит стареющего друга живущего очень скромно и одиноко, а не с красавицей женой – что же он подумает? А может это я зря нагоняю страхи? Может, он вообще простит меня за враньё? Поставлю ему раскладушку на кухне, будем пить грог и квасить? Может быть, всё будет хорошо?

Возможно и будет, и надо сказать, что месяц прошел, а Хаким меня не уволил. Занялось бабье лето, известное здесь, как индейское, и я продолжил стоять у входа – или выхода – называйте как хотите. Я люблю рассматривать посетителей. У входящих на лице предвкушение, даже у тех, кто заходит регулярно. В этом, видимо, что-то примордиальное, или лучше сказать инстинктивное: человек знает, что ему предстоит встреча с едой, и встречи эти всегда возбуждают. То есть, примордиальное – это даже не слово, я его толком не знаю и самому не понять зачем я его воткнул. Ну, может, не всегда встречи с едой возбуждают – особенно если еда нелюбимая, но часто – когда в супермаркете, где разной еды на всякий вкус. Женщины и мужчины, люди пожилые и молодые – все по-разному предвкушают встречу с едой. С другой стороны, возможно что и одинаково, но тогда весь интерес к разнице полов нарушается, и толком даже сказать нечего. Хочется поделить людей на разные группы и закрепить за ними какие-то последовательные качества. Но не сейчас – сейчас я говорю об индивидуальных реакциях.

К примеру, вот с проседью и двумя побородами черный мужчина в крупных очках. Линзы сверкают, взгляд напряженный: сейчас купит фарш для гамбургера с высоким содержанием животных жиров. В этом секрет сочного гамбургера – котлета должна быть жирная, а жарить нужно только на сковороде. Мангал, как это часто показано в рекламе, чистая фикция – он позволяет жиру стечь и оттого гамбургер выходит сухим и твердым, как стиральная доска. И кто сейчас помнит про стиральные доски? Не то молодая лет двадцати девушка, пришедшая в супермаркет отовариться. Она вообще приходит за покупками как бы нехотя и покупает полуфабрикаты и пакетированные снеки – всякие галеты, хлебцы и прочие закуски, которые хорошо макать прямо в хумус или выковыривать ими сливочный сыр из упаковки. Такая девушка небрежно бросает пакеты с товаром прямо в тележку и на ходу, до оплаты, открывает упаковку: она голодна. Главное, что всякая покупка продтовара так или иначе заканчивается его поеданием, и в этом есть неумолимая истина.

Также бывает, что ты маленький и мама готовит завтрак в субботу. Здесь есть какая-то животная связь между людьми, что ожидаемо: человек животен и нередко. Он, в качестве ребенка, ест на завтрак картофельное пюре, смягченное теплым молоком, оттого напоминающее облака, а жетон сливочного масла в облаках напоминает солнце – растекающееся из идеального себя-круга – что, на самом деле, и происходит с настоящим солнцем. С пюре подаются жареные сосиски, разрезанные крестом по обеим концам, яичница-глазунья – в качестве дополнительного солнца, ломоть черного хлеба с маслом и чашка чая с сахаром. Такой ребенок ест и смотрит телепередачу «Будильник».

Я давно не ребенок и не помню когда ел картофельное пюре в последний раз, а у нас оно продается в качестве полуфабриката: разбавил водой и детство вернулось на короткий срок.

Сегодня мой сосед по квартире работает смену, и я один. Вид из окна упирается в серого цвета жилой дом из четырех этажей. Мы – на втором, и прямо напротив нас окно дома напротив с пожарной лестницей, выкрашенной черной краской, а на ней рассада. Отсюда не видно, что

растет, но понятно, что квартиросъемщик устраивает себе таким образом уют. Я ценю уют и себе его тоже устраиваю: у меня хороший немецкий диван бруклинской сборки, а к нему я купил шотландский плед на распродаже, или по акции, как теперь говорят. Хотя у нас так не говорят. У нас говорят «на сейле», и я тоже так говорю. Вернее, не говорю, поскольку мне некому это сказать. Но я рад, что есть возможность покупать вещи на распродаже, не тратить на них всю получку.

И еще у меня шведская лампа производства Китая, она для чтения и письма, и я прямо вижу, как писатель или поэт, сидя под такой лампой выводит что-то вроде «тень русской ветки на мраморе моей руки». Хотя, конечно, не понять о какой русской ветке может идти речь. Нет никакой такой ветки, специфически русской. Ни дуб не русск, ни береза не русска – все эти деревья, а заодно и их ветки, встречаются повсеместно, даже у нас здесь. И с мрамором руки тоже промашка: рука под светом скорее воскового оттенка. Но главное, лампа – это действительно уютно.

Хорошо в пасмурный день сидеть под такой лампой, укрывшись пледом и смотреть в окно на чужую рассаду. Рассада чужая, а уют мой. Хуже, когда яркий солнечный день: вспоминаешь себя в юности, переполненного энергией, а теперь в теле привычный зуд созерцания, и уговариваешь себя, что вдумчивое спокойствие куда как лучше для восприятия окружающего мира. Но я-то помню, что безудержное слияние с этим миром, как свойство юности, лучше в качестве способа приобщения к миру. «Лучше в качестве способа» – кто вообще так говорит? Ужас.

Я о себе всегда был лучшего мнения, чем на самом деле позволяли фактические обстоятельства. Все видимо оттого, что мама вслух при мне говорила о моей исключительной памяти – я якобы в полтора года со слуха выучил книжку, которую мне читали, а потом, если читали неправильно, исправлял по памяти. Затем, лет в пять я будто бы ловко имитировал белорусское произношение и здесь решили, что у меня гуманитарные наклонности и способности к изучению иностранных языков. Никакое из предположений не оправдалось – память у меня обыкновенная, а со временем она всё хуже, имитировать акценты я не умею, а что выучил кое как английский язык, так это жизнь заставила.

Впрочем, какие-то способности у меня, видимо, были, но заключались они, похоже, в понимании собственной ограниченности. Но не только: я всю жизнь живу с хорошим аппетитом, и это не всегда удобное существование. К примеру, кто-нибудь умеренно поест, а затем, может быть, ещё раз только на следующий день. Не то я. Я требую от себя как минимум трехразового питания, а иногда мне нужно питаться даже чаще, чем трижды на день. Также, воспитание мое, тем не менее, усложнило ситуацию, поскольку изначальная установка на одаренность осталась, а столкновение с жизнью не оставляло тем временем сомнений в том, что одаренности никакой и нет вовсе. Довольно печально всё это было ощущать.

Было печально, но возраст, кажется, взял своё. В какой-то момент, ожидания некоего будущего, когда способности помноженные на труд раскроются как розовый бутон, завяли, опреснели, стали похожими на вчерашний чай, забытый в стакане на кухне. Холодный неитересный напиток былой жизни.

И здесь началось что-то новое. Я люблю музыку и кое-что могу рассказать или даже провести сравнительный анализ. Например, пианист Святослав Рихтер перенес в пожилом возрасте сложную сердечную операцию, а потом записал Английские Сюиты Баха. Когда слушаешь запись, кажется что играет юный ученик, только начинающий познавать эту музыку. Его игра почти наивна и нетороплива; из неё изъят опыт исполнителя – музыкант играет так, словно нотная запись открыта впервые.

Что-то похожее происходит с жизнью после пятидесяти. В ванной комнате оглянешься – диву даешься вещественности умывальника, бритвы, ясности существования тюбика с зубной пастой. Материальный мир – внутри и снаружи и вдруг полная невозможность его познать,

но словно протянутая рука – сам этот мир: бери в руки щетку, выдавливай на неё пасту, учись жить.

Друг, как было сказано, должен приехать из Гомеля. И как же это будет выглядеть? Лишь однажды за долгие годы я встретил человека внешне похожего на Андрея. То есть, совсем непохожего, а похожего в проекции. Он был лет на пятнадцать старше, а Андрея я на тот момент лет пятнадцать не видел. И я подумал, что если Андрей хорошо сохранится, то сможет, наверное, выглядеть похоже.

Но человек – не сыр, ему незачем хорошо сохраняться. У Андрея в юности всё лицо было в угрях и оспинах, я с ним даже за компанию сходил к врачу. А что мог посоветовать врач? Врач сказал не есть колбасу, и то было хорошо, что как раз наступали времена китайской тушенки и маринованных кабачков, а колбаса пропала с лица земли незаметно, как вымерший вид насекомых. Теперь зато никаких оспин и угрей, чистое лицо молодого человека. Он зашел ко мне в квартиру, и я увидел, как краска смущения начала подниматься по его шее и вскоре заняла все лицо. Он мудр и, видимо, простил меня, а если не простил, то этого я никогда не узнаю. Я ему постелил в коридоре на раскладушке, от водки он отказался, а грог пил с интересом и жаркое ел с аппетитом. Настоящий друг.

Что такое настоящая дружба? Определить тяжело или невозможно. Но если с человеком дружишь всю жизнь, то знаешь какими словами он завершит фразу, а мысль, подготовленную к высказыванию каким-то образом отгадываешь заранее. Да, дружба может показаться открытой и неоднократно прочитанной книгой. Но есть точный признак – это тепло участия. Оно всегда есть, даже если скучно вдвоем. Другое дело, что когда есть своя семья – жена или дети, то, как известно, дружба может отойти на второй план.

Мой друг был женат, у него взрослый сын. Андрей живет в Гомеле, а я стал про себя мечтать о том, что вот вдруг он переедет жить сюда, мы тогда вместе снимем квартиру, и будет почти повторение детства. Конечно, ничего такого не случится. Но интересно было бы вместе проводить время уже не в качестве подростков, а в виде стареющих тихих дядек. Мы, собственно, и в юности тихо себя вели, и в чем теперь разница?

Разница есть, и надо бы объяснить в чем здесь дело. Но, с другой стороны, дело настолько малозначительное, что объяснение перекроет сам вопрос, станущий от него несущественным. И все-таки, я же сам сказал, что есть разница, и вот эта постоянная двоякость, сопряжение малозначительных обстоятельств именно и раздражает. Хочется, как говорят, в сердцах плюнуть, но ведь так как раз не говорят. Это книжное выражение, а я пытаюсь говорить, как если бы говорил с людьми, тем более, что вы люди и есть – даже если мы лично не знакомы. Все, что я хотел сказать, что от моего соседа по квартире исходит запах, и он меня раздражает. Это не телесный запах – то есть, запах как раз телесный, но не в том смысле, что это запах немытого тела, а вовсе наоборот. Но и не грязного тоже, вернее, именно как раз мытого, но не тела, а дезодоранта или какой-то ароматической присыпки для тела. Грубо говоря, тело соседа пахнет чистотой, но дополнительный дезодорированный аромат в сочетании с запахом сводит меня с ума.

То есть, он мне не нравится совсем. Не нравится, а сказать я ничего не могу, поскольку парень он очень хороший – вернее, не парень, а мужик или мужчина. Он, все же, слишком зрел, чтобы называться парнем. Сам же он всех называет пассажирами – с тех пор как отбыл на химии в каком-то сибирском выселке. Так и говорит о ком-нибудь – «интересный», мол, «пассажир». Меня раздражает запах, а Андрея, похоже, нет. Я его теперь буду называть Андрюхой – как в юности, это мне естественнее так его называть. Так вот, Андрюха глаза сузит, и он их всегда держит узкими, и через свои щели посматривает. Пьет грог, но не понять, что у него в голове или на сердце. Очень закрытый человек, решительный тоже. Но я его знаю как свои пять пальцев, хотя у меня как раз их двадцать, как у всех, если считать вместе с теми, что на ногах. Ну, не у всех, конечно, но у большинства. Меня не спросив, он пошел в Си-

Таун и принес куриных ножек органических, по 3,99 за паунд. Я тут чуть со стула не упал, когда увидел упаковку. То есть, никуда я не мог со стула упасть, поскольку не сидел и не стоял на стуле, а это всем вам известное выражение – упасть со стула (от удивления или неожиданности). Если бы люди от удивления падали со стула, то многие не дожили бы до зрелых лет, а дожившие до старости все как один ходили бы со сломанной рукой или шейкой бедра. Одним словом, вранье. Никто со стула просто так не падает.

Падает не падает, а скоро зима. Крепче зим, снежнее зим, зим с ветром нежнее и острее – я не видал в жизни. Ветер легок, как острый нож, проводящий полотном по коже, но кажется – задень кромкой и снимет кожу, как кожуру с яблока. Глаза слезятся; кажется, что каждый вдох остро проникает в желудок; горло застужено легким движением кислорода, уши – вот-вот отпадут от непрекращающегося мороза. Таковы наши зимы. А впрочем, не всегда. Бывает ещё, что тепло, почти как летом, но вдруг за ночь принесёт снега по грудь, и берёшь китайскую лопату с ржавым черенком и давай прочищать дорогу от парадного к проезжей части. Снег слепит глаза, повсюду свет отражается от сугробов, изо рта пар, как от паровоза. Таковы наши зимы. Нужно, правда, сказать, что даже в такую погоду приходится идти на работу – если Хаким позвонит, но если и придёшь, то делать нечего: доставки нет, посетителей, может, человек десять за день. Слушаешь себе музыку в наушниках, мечтаешь, задумавшись в стену.

Мне мечтается о том, чтобы вернуться в молодость, но без молодых страхов, без душевной привязи к родным, хотелось быть молодым и зрелым по восприятию, и свободным и уравновешенным, и спокойным, как теперь. Но в чем же отличие такого молодого человека от меня сегодняшнего? Отличие, кажется, то, что больше нет планов на долгую жизнь впереди, а есть, вместо этого, простые намерения, некоторые, кажется, исполнимые, а иные не очень. Вот станешь старым, поднимается известный вопрос о стакане воды. Но дело не в нем, а в том, что если повезет – угодишь в дом для больных, оплачиваемый государством. Там неплохо, там мама была последние годы. Там все почти прилично: палата на двоих, телевизор, обеды, развлекательные концерты под магнитофон или синтезатор. И ужасный запах. Я думаю, что к такому запаху не привыкнуть. Но человек привыкает ко всему.

Привыкает ко всему, и к тому, например, что приходится сожительствовать в квартире с незнакомыми людьми. Я зарабатываю мало. То есть, как мало – здесь нужно от чего-нибудь отталкиваться, чтобы произвести сравнение. Если сравнивать с развивающимися странами Африки или Азии, то я неплохо зарабатываю, и, может быть, даже очень хорошо. И даже это «может быть» здесь ненужное вводное предложение. Я по некоторым меркам богат. Но не все мерки таковы и оплатить целую квартиру я не могу.

То есть, на нашем здешнем русском языке я бы сказал, что «я не могу афордать целый апартамент». Но для тех кто по-русски не понимает, я пишу как вам понятно. Есть и еще такой штрих: у нас всегда скажут «афордать», но я знаю, что, например, в России, и особенно в ее крупных городах, куда наш язык проник, чаще скажут «аффордить», а также, скорее всего, «послайсить», «копипейстить». Не то у нас. Наш русский язык живее и приближеннее к жизни, чем российская разновидность. Интересно, как теперь говорят в Гомеле. Может там вообще не говорят.

Возвращаясь к прежнему разговору скажу, что мне доступна комната – даже если вся квартиру я афордать не могу; я также не хожу голодным в нашей стране победившего дешёвого питания. В крайнем случае, всегда есть макароны, а если и картошка – то пусть миллиардеры и английские наследные принцы завидуют. Я говорил уже о еде неоднократно, но нет ничего излишнего в том, чтобы повторить, что картошка благоприятно влияет не только на ощущение сытости организма, но и на эмоциональное ощущение души. Поев картошки – особенно вареной – ощущаешь энтузиазм и мир приобретает оптимистические цвета.

Впрочем, также можно есть и другую еду. Правда, от поедания овощей нет в душе той уверенности, которая достигается мясом или хлебо-булочной продукцией. Но поев мясо, вос-

принимает овощи и фрукты как осмысленное развлечение – познавательное и полезное. Надо сказать, что от мороженого и прочих шоколадов я не то, чтоб отказался – нет, я их всегда ем, если есть такая возможность, но, в целом, я не вижу в них смысла и сам их никогда не куплю. Лучше паунд картошки, чем плитка шоколада – сам жизненный опыт сообщил мне такую мудрость. Ну вот, хотел сказать о квартире, но мысль привела к еде. Разумно было бы что-нибудь съесть прямо сейчас – для повышения сытости.

А что касается квартиры, мама ухаживала за пожилой женщиной на первом этаже, и там жила, а на втором освободилась комната в квартире, где живет руммейт («руммейт» по-нашему означает сосед по квартире). Мама мне сообщила и с тех пор в освободившейся комнате живу я.

Прошло много лет, но руммейт все тот же – тот, который лимузинщик и варит грог. У него немного заячья губа, как у вратаря Чанова, но это не влияет на его речь и вообще внешне не портит. Когда я пришел смотреть квартиру, он как раз вернулся с пляжа, был весь в белом. Такой крепкий мужик, энергичный был тогда. Мы быстро договорились, а иначе бы, он пошутил, пришлось использовать более убедительные, чем уговоры, методы воздействия – иголки под ногти, утюг на живот. Но я согласился без утюга: квартира хорошая, руммейт тоже. Тем более, в моей новой комнате оставался от прошлого жильца телевизор Sony последней модели на тридцать два инча. В общем, жилье обещало много хорошего и я согласился.

Что тоже было хорошо – это что мама жила на первом этаже и всегда готовила что-нибудь вкусное на обед. Какое-то время после заселения я не работал, и пришлось пожить в долг. Но потом я на время устроился ухаживать за старым и очень больным румыном – работа была сутки-трое, приличная почасовая оплата, и долг я со временем погасил. Но с тех пор я не люблю работать по уходу. Этот румын из меня все нервы вымотал. То есть, как: не все, конечно, но ночью, когда по условиям работы я имел право уснуть, он требовал больше всего внимания – хотел, чтобы я переворачивал его в кровати для избежания пролежней. Я совсем устал с ним, особенно эмоционально.

Здесь, конечно, надо сказать про отца. Я думал не говорить, но все как-то покатилося как с горы из-за него. Мы жили все вместе, он получал SSI – по нашему, «Эсесай» – это когда деньги государство дает тем, у кого низкий прожиточный уровень, мама работала на кеш (кеш объяснять не буду: все стали жутко умными и научились разным словам). Но потом мы подселили к себе женщину с ребенком, нелегалку. Она была молодая, и мы с мамой как-то зашли в квартиру, а она с голой задницей сидела у отца на коленях. Мы ее, конечно, сразу выгнали, хоть деньги её нам были не лишние, но с отцом что-то произошло. Он перестал выходить из комнаты, а однажды пропал. Мы его искали по больницам и довольно скоро нашли в психиатрическом госпитале Грейси-Сквер. Сказали, что у него помешательство, я к нему ездил, возил ванные принадлежности, бутерброды. Его должны были вскоре выписать, но вдруг он умер. Мы заняли денег, влезли в большие долги, но похоронили его на кладбище Mount Lebanon. Мама потом рассуждала вслух, что жизнь ее с отцом была скучна и что он не сделал ее жизнь интересной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.